

*Лестница
без
последней
ступени*

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Лестница без последней ступени

<https://litres.ru/74166794>

SelfPub; 2026

Аннотация

Артём опаздывал. Он всего лишь хотел попасть домой, но вошёл не в тот подъезд. Дверь захлопнулась за спиной с мягким, почти ласковым шипением, и привычная лестница превратилась в бесконечный лабиринт, где на каждом этаже ждут чужие квартиры, а из зеркал смотрит собственное отражение, улыбающееся на секунду дольше положенного.

Одна ошибка запускает цепочку кошмаров: голоса за стеной обсуждают каждое действие Артёма, из подвала тянет сладковатым запахом тления, а старая фарфоровая кукла, найденная в запертой комнате, кажется, знает о нём больше, чем он сам. В поисках выхода герой спускается всё глубже в бездну, где дом дышит, солнце становится чёрным, а граница между явью и безумием стирается.

Самое страшное открытие ждёт в финале: кошмар, который преследует Артёма, — не случаен. Он сам придумал его двадцать лет назад и забыл. А теперь история требует продолжения. И

когда вы закроете эту книгу и выключите свет, — прислушайтесь.
Возможно, ваша дверь только что открылась.

Содержание

Глава 1. Лестница без адреса	5
Глава 2. Отражение улыбается шире	25
Глава 3. Голос за стеной	40
Глава 4. Вещи с изнанки	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Сергей Патрушев

Лестница без последней ступени

Глава 1. Лестница без адреса

Ошибка, обернувшаяся ловушкой, редко выглядит как ошибка в момент своего рождения. Она прикидывается мелочью, случайностью, тем, что можно поправить одним движением руки, смешком, шагом назад. В тот вечер все было именно так: я опаздывал, но не катастрофически, а так, как опаздывают все, — задержался на совещании, которое затянулось на сорок минут дольше положенного, потому что начальник отдела, Валерий Семенович, любил слушать себя больше, чем требовала производственная необходимость. Он сидел во главе стола, перекатывал во рту слова «оптимизация» и «реструктуризация», а я смотрел на стрелку настенных часов, которая двигалась рывками, словно издеваясь над моим желанием поскорее оказаться дома, снять наконец эти чертовы туфли, натиравшие мизинец, и заварить себе кружку чая с бергамотом.

Когда совещание кончилось, за окнами уже стемнело, и офис опустел. Я собрал бумаги, рассовал их по папкам, накинул куртку и вышел на улицу, где меня встретил мокрый октябрьский ветер и мелкая, почти невидимая глазом водяная пыль, оседающая на лице тонкой пленкой. Машина завелась с третьего раза, печка задышала теплом только к середине пути, а навигатор, как назло, повел меня через центр, где образовалась пробка из-за аварии на перекрестке. Я стоял в этой пробке, слушал, как дождь барабанит по крыше, и чувствовал, как во мне закипает глухое, беспредметное раздражение — то самое, которое возникает, когда день прожит зря, а вечер не сулит ничего, кроме усталости и телевизора.

Дома я оказался только в начале одиннадцатого. Двор встретил меня темнотой и отсутствием свободных парковочных мест. Я сделал круг, второй, третий, матерясь сквозь зубы на соседей, купивших себе по второй машине, и в конце концов втиснулся в щель между мусорными контейнерами и чьим-то пыльным «Фольксвагеном» с тонированными стеклами. Вылезать пришлось боком, втягивая живот и стараясь не поцарапать дверцу о кирпичную стену. Пакет с продуктами, который я прихватил в супермаркете у офиса, зацепился за ручник и порвался, из дыры выкатились два апельсина и упали в лужу. Я поднял их, чертыхаясь, запихнул обратно в пакет, прижал его локтем и быстрым шагом направился к подъезду.

Я не смотрел ни на номер дома, ни на табличку с названием улицы, ни даже на знакомую трещину в асфальте, которая каждую весну наполнялась водой и превращалась в маленький пруд, где купались воробьи. Мое тело за четыре года жизни в этом доме выучило маршрут наизусть, до мышечной памяти, до автоматизма, который не требует участия сознания. Поворот у скамейки, где всегда сидят старухи, мимо детской площадки с покосившимися качелями, еще один поворот — и вот он, мой подъезд, с облупившейся коричневой краской на двери и сломанным доводчиком, из-за которого дверь всегда хлопала с оглушительным грохотом, если ее не придержать. Я толкнул ее плечом, ожидая привычного сопротивления тугой пружины, ожидая тяжелого, железного лязга, но дверь подалась на удивление легко, почти приветливо, и закрылась за моей спиной с мягким, деликатным шипением, как будто смазанные петли работали безупречно.

Это было первое, что меня насторожило. Не испугало, нет, просто слегка царапнуло край сознания, как царапает горло слишком сухой воздух в самолете. Дверь не должна была закрываться так тихо. Она всегда хлопала, всегда, сколько я себя помнил, и я даже привык к этому звуку, как привыкают к тиканью часов или гулу холодильника. А тут — тишина. Я обернулся через плечо, посмотрел на дверь, но в полумраке тамбура не разглядел ничего подозрительного.

Дверь как дверь. Я пожал плечами и шагнул дальше, во вторую дверь, ведущую на лестничную клетку, и вот тут-то тишина стала не просто царапиной, а целой пропастью.

В нашем подъезде никогда не было тихо. Я не преувеличиваю. Это был старый панельный дом, построенный в конце семидесятых, с прекрасной, надо сказать, слышимостью, которая позволяла быть в курсе дел всех соседей без необходимости с ними общаться. Справа от входа жила семья Гавриловых, у которых было трое детей и старый лабрадор, и оттуда всегда доносился топот маленьких ног, крики, плач, смех, лай и звуки работающего телевизора, который, кажется, не выключался никогда. Слева — студент-музыкант, снимавший квартиру у уехавшей в Израиль бабушки, и его бас-гитара гулко пробивала стены, особенно по вечерам, когда он репетировал со своей группой что-то тягучее и депрессивное. На втором этаже жила пожилая пара, которая постоянно ссорилась, и их крики разносились по всему подъезду, как радиопостановка. На третьем — женщина с тремя кошками, и запах кошачьего наполнителя был вечным спутником любого, кто поднимался по лестнице. А на пятом, под самой крышей, обитал загадочный мужчина, которого никто не видел, но который каждую ночь включал дрель, и этот звук сводил с ума весь подъезд уже много лет.

Все эти звуки, запахи, вибрации составляли неотъемле-

мую часть моего дома, его акустический и обонятельный портрет, по которому я, не глядя, мог определить, где нахожусь. И вот сейчас, когда я стоял на лестничной клетке первого этажа, всего этого не было. Вообще. Абсолютная, глубокая, как вакуум, тишина. Ни телевизора, ни музыки, ни криков, ни лая, ни запаха кошек, ни даже того особенного запаха сырой штукатурки, которым всегда тянуло из подвала после дождя. Вместо него в воздухе витал другой запах — сухой, пыльный, с примесью чего-то сладковатого, напоминающего старые духи, которыми душились мои бабушки перед походом в театр. Запах времени, если время вообще имеет запах. Запах заброшенности, но не той, что бывает в покинутых домах, а какой-то более тонкой, музейной, как будто я попал не в подъезд, а в архив, где хранятся подшивки газет столетней давности.

Я остановился, поставил пакет на пол и прислушался. Тишина была такой плотной, что, казалось, ее можно потрогать руками. Она давила на уши, как вода на глубине, и в ней мое дыхание звучало чужим и неуместным. Я кашлянул, просто чтобы проверить, не оглох ли я внезапно. Звук получился глухой, ватный, он не разнесся эхом, как обычно, а упал тут же, у моих ног, поглощенный этой странной акустикой. Я огляделся. Лестничная клетка выглядела как обычно: те же бетонные ступени с выщербленными краями, те же деревянные перила, покрашенные коричневой краской, кото-

рая облупилась ровно в тех же местах, что и всегда. Стены — ядовито-зеленого цвета, того самого, который на собрании жильцов кто-то назвал «фисташковым», после чего это слово прижилось и использовалось с горькой иронией. Но что-то было не так. Я не сразу понял, что именно, но какая-то деталь, какой-то штрих сместился, и от этого вся картина казалась фальшивкой, копией, сделанной по памяти, но с ошибками.

Я сделал несколько шагов вглубь холла и вдруг заметил, что пол вымыт. Не просто подметен, а именно вымыт, до стерильного блеска, как в операционной. Ни одного окурка, ни одного осеннего листа, занесенного ветром, ни одного грязного следа от ботинок. У нас в подъезде пол мыли от силы раз в месяц, и то после этого оставались грязные разводы и лужи. А здесь — идеальная чистота, от которой почему-то становилось не по себе. И еще одна деталь: на стене, где обычно висело объявление о необходимости установки общедомовых счетчиков, приклеенное скотчем и написанное от руки, не было ничего. Вообще ничего. Голая, идеально покрашенная стена, на которой не осталось даже следов кнопок или скотча. Как будто здесь никогда ничего не вешали. Как будто здесь никто не жил.

Я шагнул к лестнице и начал подниматься. Лифт я игнорировал, как и всегда, потому что в лифте нашего дома пах-

ло еще хуже, чем в подъезде, и он вечно застревал между этажами. Но сейчас, проходя мимо лифтовой шахты, я заметил, что из-за дверей не доносится ни звука. Обычно там что-то гудело, щелкало, лязгало тросами — лифт жил своей жизнью, как старый зверь в клетке. Теперь он молчал. Я постучал костяшками пальцев по железной двери, и звук получился такой, будто за ней не шахта, а сплошной бетон. Никакого эха, никакого гула. Просто глухая стена.

Я поднимался медленно, внимательно глядя по сторонам. Второй этаж. Дверь квартиры номер пять, где жили те самые скандальные старики. Обычно из-под нее пробивалась полоска света и слышались голоса. Сейчас дверь была темной, и из-под нее тянуло холодом, как из погреба. Я наклонился, присмотрелся: никакого света, никакого сквозняка. Я постучал. Тишина. Только где-то далеко, на грани слышимости, мне почудился звук — не то шорох, не то скрип, как будто мышь скребется за обоями. Звук был тихий, но какой-то навязчивый, он проникал в голову и заставлял волосы на затылке шевелиться.

Третий этаж. Дверь квартиры номер восемь, где жила кошатница. Я ожидал почувствовать запах, но его не было. Вместо него — все тот же библиотечный дух, сухой и сладковатый. Я подошел к двери и зачем-то приложил ухо к холодному дерматину. Ни мяуканья, ни шагов, ни звука насы-

паемого корма. Только тишина, но в этой тишине мне вдруг показалось, что с той стороны кто-то стоит. Стоит и слушает. Так же, как я, прижавшись ухом к двери. Я отшатнулся, чувствуя, как сердце пропустило удар и забилось где-то в горле. Не нужно было этого делать. Не нужно было слушать.

Я поднялся на четвертый этаж, где находилась моя квартира, двадцать вторая. И тут меня ждал первый настоящий удар. Дверь моей квартиры была обита черным дерматином. Не коричневым, как всегда, а черным, блестящим, с золотыми шляпками гвоздиков, и номер «22» был выведен золотой краской от руки, кривовато, но старательно, с завитушками на хвостиках доек. У меня такой двери не было. У меня была обычная деревянная дверь, обитая коричневым кожзамом, который местами протерся, и номер был не нарисован, а выложен латунными цифрами, которые я лично прибавал два года назад. Я стоял и смотрел на эту чужую, незнакомую дверь, и холод медленно полз по моему позвоночнику, как ртуть в термометре.

Я достал ключи. Связка была та же: два ключа от квартиры, один от почтового ящика, брелок в виде Эйфелевой башни, привезенный другом из Парижа. Я вставил ключ в скважину, заранее зная, что он не подойдет. Так и вышло. Ключ не поворачивался, как будто скважина была заполнена чем-то твердым. Я вытащил его, попробовал второй ключ.

То же самое. Дверь не была моей. Квартира за ней — тоже. Я отступил на шаг, чувствуя, как к горлу подступает паника, липкая, удушливая, как комок ваты, застрявший в гортани. Я задышал глубоко, пытаюсь успокоиться. «Так, спокойно, Артем, — сказал я себе, и голос в этой тишине прозвучал чуждо, как будто говорил кто-то другой. — Ты просто ошибся подъездом. Зашел не в тот дом. Бывает».

Я развернулся и пошел вниз, намереваясь выйти на улицу, посмотреть на номер дома, сориентироваться и найти свой настоящий подъезд. Я спускался уверенно, быстро, перепрыгивая через ступеньку. Третий этаж. Второй. Первый. Я толкнул дверь тамбура, ожидая снова увидеть улицу, но за дверью оказалась очередная лестничная клетка. Точно такая же, как та, из которой я только что вышел. Те же зеленые стены, те же деревянные перила, та же идеально вымытая плитка. Я замер. Этого не могло быть. Я спустился на три этажа, а оказался снова на лестничной клетке. Я оглянулся: за спиной была дверь с номером «22», та самая, с черным дерматином и золотыми цифрами. Я спустился на этаж ниже — и снова та же дверь. И еще на этаж ниже — та же дверь. Словно лестница заиклилась, превратилась в бесконечную петлю, где каждый новый уровень был точной копией предыдущего.

Вот тогда страх накрыл меня по-настоящему. Не тот легкий, щекочущий страх, который испытываешь при просмотр-

ре фильма ужасов, а животный, первобытный ужас, от которого пересыхает во рту и слабеют ноги. Я бежал вниз, перепрыгивая через три ступеньки, цепляясь за перила, обдирая ладони о шершавое дерево. Грохот моих шагов разносился по подъезду, но звук был какой-то неживой, поглощаемый стенами, не дающий эха. Я бежал, а лестница все не кончалась. Она уходила вниз бесконечно, как в кошмарном сне, и на каждой площадке меня встречала все та же дверь с черным дерматином и золотыми цифрами. Иногда мне казалось, что я вижу, как цифры меняются, но я не мог заставить себя остановиться и проверить. Я просто бежал, пока легкие не начали гореть, а в боку не закололо острой болью.

Сколько это продолжалось, я не знаю. Время в этом месте, казалось, подчинялось другим законам. Мои часы на руке остановились, стрелки застыли на десяти пятнадцати, и я не мог понять, прошло ли пятнадцать минут, или час, или целая ночь. В конце концов я выдохся и остановился, привалившись спиной к стене и хватая ртом спертый воздух. Пот заливал глаза, руки дрожали, сердце колотилось так, что, казалось, его слышно на весь подъезд. Я закрыл глаза и попытался думать. Рационально, логично, как учили на тренингах по стрессоустойчивости, на которые нас гоняли в прошлом году. У любой проблемы есть решение. У любого лабиринта есть выход. Нужно только успокоиться и найти закономерность.

Я открыл глаза и начал изучать пространство вокруг себя. Я находился на очередной площадке, точной копии всех предыдущих. Но теперь, когда паника немного отступила, я заметил то, чего не видел раньше. Двери квартир были разные. Не все обита черным дерматином. На некоторых этажах я видел двери, покрашенные белой краской, другие — с глазками, третьи — с навесными замками. Номера тоже различались: где-то «22», где-то «16», где-то «3», а один раз я прошел мимо двери с номером «404», написанным мелом, как будто это был не номер квартиры, а код ошибки. Я понял: это не один подъезд. Это сотни, тысячи подъездов, сшитых вместе в одну бесконечную лестницу. Куски разных домов, разных городов, может быть, разных времен, соединенные в чудовищный конгломерат, где пространство потеряло свою линейность.

Я пошел вверх. Не знаю почему, но мне показалось, что выход там. Или, может быть, я просто не мог больше видеть эти бесконечно повторяющиеся этажи и нуждался в перемене декораций. Я поднимался медленно, считая ступеньки и заглядывая в каждую дверь, мимо которой проходил. Большинство были заперты, но некоторые — приоткрыты, и из щелей сочился свет. Разный свет: где-то теплый, живой, как от свечи, где-то мертвенно-белый, как в больнице, а где-то — кроваво-красный, пульсирующий, от которого к горлу под-

катывала тошнота. Из одной двери доносился детский смех, но такой искусственный, такой механический, что я ускорил шаг, чтобы не слышать его. Из другой — пахло жареным мясом, и это было бы почти нормально, если бы не металлический привкус в этом запахе, от которого рот наполнялся слюной, а желудок сжимался в спазме.

На одной из площадок я увидел дверь, которая была открыта чуть шире других. Из нее лился мягкий, золотистый свет, и слышалась музыка — старая, заезженная пластинка с какой-то довоенной мелодией, которую крутили на граммофоне. Я замедлил шаг, заглянул в щель и увидел комнату, обставленную старинной мебелью: бархатные кресла, торшер с кистями, пианино, на котором стояли фотографии в резных рамках. В комнате никого не было, но музыка играла, и на пианино стояла чашка чая, от которой поднимался пар, как будто кто-то только что вышел. Я почувствовал запах бергамота — того самого чая, который я мечтал выпить дома. И меня вдруг захлестнула такая острая, такая пронзительная тоска по моей настоящей, нормальной квартире, что на глаза навернулись слезы. Я хотел войти туда, сесть в это кресло и сделать вид, что ничего не случилось, что это все сон, что сейчас я закрою глаза, а открою уже в своей постели. Но я не вошел. Что-то меня удержало. Какое-то внутреннее чутье, или инстинкт самосохранения, или просто страх, что эта дверь захлопнется за моей спиной и я останусь в этой чужой,

музейной комнате навсегда.

Я пошел дальше. Теперь я искал не выход, а просто любую дверь, которая выглядела бы нормальной. Обычной. Моей. Я проходил мимо дверей, обитых вагонкой, мимо дверей с коваными решетками, мимо дверей, на которых были выжжены какие-то символы, напоминающие то ли руны, то ли детские каракули. И чем выше я поднимался, тем более странными становились эти двери. На уровне, который я мысленно окрестил «двадцатым этажом», мне попала дверь без номера, просто гладкая черная поверхность, похожая на застывшую нефть. Она пульсировала. Я не метафорически это говорю: ее поверхность шла рябью, как вода, в которую бросили камень, и из глубины этой ряби доносился голос. Мамин голос. Она звала меня ужинать, тем самым интонацией, которую я помнил с детства, — с легкой укоризной и теплотой. Я замер, парализованный, глядя на эту дверь и чувствуя, как изнутри поднимается волна воспоминаний, сладких и болезненных одновременно. Я знал, что если шагну туда, то исчезну. Растворюсь в этом голосе, в этом воспоминании, которое никогда не было моим, потому что моя мама умерла, когда мне было двенадцать, и она никогда не звала меня таким голосом. Это была чужая память, чужая дверь, чужая ловушка.

Я отвернулся и побежал вверх, не разбирая дороги, спо-

тыкаясь о ступеньки, которые местами были разной высоты — одни слишком высокие, другие слишком низкие, как будто лестницу строили в разные эпохи разные архитекторы. Я бежал, а за спиной все еще звенел мамин голос, постепенно искажаясь, превращаясь в какой-то скрежет, в скрип, в тот самый звук, который я слышал на втором этаже, — звук мыши, скребущейся за обоями. И тут я наткнулся на человека.

Это случилось так внезапно, что я чуть не сбил его с ног. Он стоял на площадке между этажами, прислонившись к стене, и курил. Обычный мужчина лет пятидесяти, в старом поношенном пальто с поднятым воротником, в кепке, надвинутой на лоб, с тяжелой хозяйственной сумкой у ног. Он держал папиросу в желтых от табака пальцах и смотрел на меня спокойно, без удивления, как будто ждал меня или кого-то вроде меня уже давно. Лицо у него было самое заурядное: глубокие складки у рта, небритые щеки, мешки под глазами. Таких людей тысячами встречаешь в метро и тут же забываешь. Но его глаза — тусклые, водянистые, но при этом цепкие — смотрели на меня так, словно он знал обо мне все. Словно он видел меня насквозь, со всеми моими страхами, со всей моей паникой, со всем моим жалким, беспомощным желанием выбраться отсюда.

— Заблудился, браток? — спросил он, и голос у него был низкий, с хрипотцой, как у заядлого курильщика, но звучал

он почти доброжелательно.

— Где я? — выдохнул я, все еще пытаюсь отдышаться. — Что это за место? Как отсюда выйти?

Мужчина затаился, выпустил струйку дыма, которая в желтом свете лампы казалась осязаемой, почти твердой, и неторопливо ответил:

— Место как место. Лестница. А ты как сюда попал-то?

— Я не знаю. Я шел домой, в свой подъезд, и... ошибся дверью.

— Не та дверь, значит, — он хмыкнул и покачал головой. — Это бывает. Бывает, что и не та дверь открывается. Особенно когда думаешь о чем-то, а ноги сами несут. Ты в своих мыслях заблудился, браток, а двери это чувствуют. Они как голодные собаки: чуют неуверенность и открываются.

Я смотрел на него и не знал, что сказать. Его слова были бессмысленны, но в то же время в них звучала какая-то жуткая, извращенная логика. Я действительно был рассеян, действительно думал о работе, о начальнике, о сокращении, и ноги несли меня сами. Я не смотрел на дверь, когда входил. Я просто толкнул ее и вошел. И она впустила меня.

— Как мне вернуться? — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал твердо.

— Вернуться? — он снова затянулся, и в тишине я услышал, как тлеет табак. — А ты уверен, что хочешь вернуться? Может, тебе там, — он мотнул головой вверх, в темноту лестничного пролета, — лучше будет?

— Я хочу домой. В свою квартиру. К своим вещам. К своей жизни.

— Своя жизнь... — он вздохнул и бросил окурок на пол, растоптал его носком ботинка. — У каждого здесь своя жизнь. Вот, видишь дверь? — он указал на дверь с номером «42», ту самую, с латунной табличкой. — Это моя. И я в нее сейчас зайду, потому что у меня там свои дела. А ты ищи свою. Если найдешь — значит, повезло. Если нет — значит, не судьба.

— Подождите! — я схватил его за рукав, чувствуя, как по моей ладони пробегает холод от его пальто. — Вы знаете, как отсюда выйти? Вы же здесь ходите, вы живете здесь. Вы должны знать.

Мужчина повернулся ко мне, и его взгляд стал жестким,

почти враждебным.

— Я ничего тебе не должен, — отрезал он. — И запомни: здесь никто никому ничего не должен. Здесь каждый сам за себя. И единственный совет, который я могу тебе дать — уходи, пока петляешь. Пока лестница не запомнила твой шаг, пока двери не выучили твое дыхание. А то затянет. Станешь таким же, как я. Или как другие.

Он достал из кармана длинный черный ключ, вставил в скважину двери номер «42» и повернул. Замок щелкнул так гулко, что звук разнесся по всему подъезду. Дверь открылась, и оттуда пахло холодом, сырой землей и почему-то яблоками — свежими, осенними, как из бабушкиного сада. Мужчина шагнул в проем и, не оборачиваясь, бросил через плечо:

— Если увидишь дверь с глазом — не смотри в него. И никогда не стучись туда, откуда не отвечают. Запомнил?

Дверь захлопнулась, и я снова остался один. Я стоял на площадке, глядя на латунную табличку с номером «42», и чувствовал, как дрожат колени и как холодный пот стекает по спине. Его слова крутились в голове: «Уходи, пока петляешь. Пока лестница не запомнила твой шаг». Петляешь — значит, еще не застрял. Еще есть шанс. Я должен был про-

должать искать.

Я шел еще долго. Часы на руке не шли, но мое тело чувствовало усталость, и я понимал, что нахожусь здесь уже несколько часов. Я видел двери, которые вели в пустоту — я открывал их и видел только черноту, без пола, без стен, без ничего. Я видел двери, за которыми шли бесконечные коридоры, уводящие в темноту. Я видел дверь, на которой было написано «Выход», но когда я открыл ее, за ней оказалась кирпичная стена. Я слышал шаги за спиной, но сколько ни оборачивался, никого не видел — только тени, скользящие за границей зрения. Я слышал, как где-то плачет ребенок, как кто-то смеется, как тикают часы, как капает вода. И чем дальше я заходил, тем более сюрреалистичным становилось это место. В одном пролете я увидел ступени, ведущие вверх, но прибитые к потолку, вверх ногами. В другом — дверь, висящую в воздухе, без стены, без косяка, просто дверь, парящую над лестницей. Я потрогал ее — она была настоящей, деревянной, холодной, и ручка поворачивалась, но я не рискнул открыть. Кто знает, куда она вела и можно ли было вернуться.

Я начал замечать закономерности, по крайней мере, пытался. Я заметил, что двери с золотыми цифрами всегда закрыты, а двери с номерами, написанными мелом, иногда открываются. Я заметил, что на площадках, где горел яркий

свет, пахло лучше, а где свет был тусклым, красноватым — там пахло тлением и чем-то кислым. Я заметил, что лестница иногда делает повороты, которых не должно быть в прямых пролетах, и что иногда она сужается до ширины плеч, а иногда расширяется, превращаясь в холл с колоннами. Один раз я вышел в огромное пространство, похожее на вестибюль гостиницы: мраморный пол, стойка портье, ключи на доске, но никого за стойкой, и лифт с открытыми дверями, из которого лился мертвенный, зеленоватый свет. Я не рискнул войти в лифт. Я знал, что лифты в таких местах ведут только вниз, и никогда — вверх.

В какой-то момент, когда я уже почти потерял надежду и готов был сесть на ступени и ждать, пока голод или жажда не сделают свое дело, я увидел свет. Не желтый, не красный, не белый, а обычный, голубоватый свет уличного фонаря, пробивающийся через мутное стекло двери, которая была точь-в-точь как дверь моего подъезда. Я узнал ее по царапине на косяке, по облупившейся краске, по куску картона, приклеенного скотчем: «Уважаемые жильцы, сдаем показания счетчиков до 25-го». Я подошел, ожидая, что она будет заперта, как и в прошлый раз, но, к моему удивлению, ручка поддавалась. Легко, плавно, как будто дверь ждала меня. Я толкнул ее и вышел на улицу, в холодный октябрьский воздух, пропитанный влагой и запахом прелых листьев. Дверь за мной захлопнулась с мягким, почти ласковым шипением.

Я стоял во дворе своего дома. Мой автомобиль был на месте, притертый к мусорным бакам. Фонари горели. В окнах светились желтые квадраты. Все было как прежде. Кроме того, что я вышел из подъезда номер три, а жил в подъезде номер один. И кроме того, что в кармане моей куртки, который был пуст, когда я входил, теперь лежал маленький, холодный ключ из черненого металла, с замысловатой бородкой, точно такой же, каким тот мужчина открывал дверь под номером сорок два. Я смотрел на него, вертел в пальцах, и где-то глубоко, в подвале подсознания, мне слышался далекий, довольный смех, доносившийся из вентиляционной решетки у моих ног. А на ладони, которой я держался за перила, остался след — тонкая, едва заметная царапина, как будто кто-то коснулся меня острым когтем, пока я бежал. Я вошел в свой настоящий подъезд, уже зная, что ничего не кончилось, что лестница запомнила мой шаг, что двери выучили мое дыхание. И где-то наверху, этажом выше, мне почудился тихий звук открываемого замка.

Глава 2. Отражение улыбается шире

Возвращение в нормальный мир оказалось обманчивым, как мираж над асфальтом в жаркий полдень. Первые несколько часов после того, как я вышел из подъезда номер три, я пытался убедить себя в том, что ничего не случилось. Что это была галлюцинация, порожденная усталостью, стрессом, голодом, магнитными бурями, чем угодно — список рациональных объяснений, который я мысленно прокручивал в голове, пока поднимался по настоящей лестнице в свою настоящую квартиру, был длинным и убедительным. Я сам себя уговаривал, как уговаривают испуганного ребенка: это просто сон, просто тень, просто показалось. Я открыл дверь своим ключом, который на этот раз подошел идеально, вошел в прихожую, заперся на все замки, бросил пакет с продуктами на пол, даже не заметив, что апельсины, упавшие в лужу, испачкали бумаги в папке, и прошел на кухню, где зажег свет и долго стоял, прижавшись спиной к холодильнику и чувствуя его успокаивающую, ровную вибрацию.

Квартира была на месте. Все вещи — мои, родные, знакомые до последней царапины. Кружка с бергамотом, кото-

рую я так и не заварил, стояла на столе и молча укоряла меня за то, что я не успел выпить чай перед уходом. На подоконнике лежала книга, заложенная старым автобусным билетом. В ванной капал кран — тот самый, который я уже месяц собирался починить. Все это было доказательством реальности, якорем, удерживающим меня в здравом рассудке. Я прошел по всем комнатам, зажигая свет, заглянул в шкафы, даже под кровать, словно ожидая найти там что-то чужеродное, но квартира была чиста. Она была моей. Она была нормальной. И это нормальное настолько контрастировало с тем, что я пережил, что я почти готов был поверить в какую-то форму временного помешательства.

Я принял горячий душ, стоя под струями воды до тех пор, пока кожа не покраснела и не начала саднить, а зеркало в ванной не запотело настолько, что превратилось в мутное белое пятно. Я специально не смотрел в него, пока мылился и смывал с себя холодный пот и липкое ощущение чужого присутствия. Только когда вода была выключена, а полотенце обернуто вокруг пояса, я решился протереть зеркало рукой, чтобы увидеть свое лицо. Из отражения на меня смотрел усталый мужчина тридцати двух лет с покрасневшими глазами и щетиной, которую следовало бы сбрить еще позавчера. Это был я. Самый обычный я. Никаких изменений, никаких чужих черт. Я выдохнул, сам того не замечая, что задерживал дыхание, и пошел спать, надеясь, что утро сотрет

из памяти этот кошмар, как стирает все ночные страхи.

Утро наступило, но память не стерло. Я проснулся от собственного крика, хотя не помнил, что именно мне снилось — только ощущение бесконечной лестницы, уходящей в темноту, и чьего-то дыхания за дверью. Солнце светило в окно, на часах было восемь пятнадцать, и мир за окном выглядел до отвращения обыденным: сосед выгуливал собаку, дворник мел тротуар, где-то гудела машина. Я заставил себя встать, сварить кофе, одеться. Жизнь продолжалась, и у меня не было выбора, кроме как продолжать ее вместе с ней. Работа не ждала, счета не ждали, начальник не ждал. Я поехал в офис, провел там стандартный, скучный день, заполняя таблицы и отвечая на письма, и к вечеру почти убедил себя, что вчерашний эпизод был нервным срывом, спровоцированным переутомлением. Я даже рассказал коллеге, Павлу, с которым мы иногда ходили на обед, что мне приснился дурацкий сон про бесконечный подъезд. Мы посмеялись. Павел сказал, что мне нужно в отпуск. Я согласился.

Но когда я вернулся домой — на этот раз внимательно глядя на номер дома, на дверь, на каждую ступеньку лестницы, — случилось то, что разрушило мою хрупкую, построенную за день конструкцию самоуспокоения. Я вошел в ванную, чтобы помыть руки перед ужином, и краем глаза заметил движение в зеркале. Это была секунда, доля секун-

ды, почти неуловимый сбой в реальности. Я повернул голову к зеркалу, но увидел лишь себя — обычного, уставшего, с каплей воды на подбородке. Я улыбнулся своему отражению, чтобы проверить, не показалось ли мне. Отражение улыбнулось в ответ. Но уголки его губ задержались в этом движении на какую-то микроскопическую долю секунды дольше, чем следовало. Мои собственные мышцы лица уже расслабились, мои губы уже вернулись в нейтральное положение, а отражение еще продолжало улыбаться. Улыбка была моей — та же форма губ, та же небольшая асимметрия, появившаяся после того, как в детстве я упал с велосипеда и рассек верхнюю губу. Но она длилась дольше. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы я это заметил.

Я замер, глядя в зеркало широко раскрытыми глазами. Сердце пропустило удар, а потом забилось быстро и гулко, как после бега. Я поднес руку к лицу, пощупал свои губы, словно хотел убедиться, что они действительно не улыбаются. Отражение повторило мой жест с идеальной точностью. Я оскалился, как зверь, проверяя реакцию. Отражение оскалилось в ответ. Я расслабил лицо. Отражение расслабилось. Все было нормально. Все было синхронно. Я стоял так, наверное, минуты три, строя гримасы и наблюдая за отражением, пока не почувствовал себя полным идиотом и не заставил себя отойти от зеркала. Я сказал себе, что это была игра света, что старая лампа над зеркалом мигает и создает опти-

ческую иллюзию, что усталость накладывается на стресс и дает такой эффект. Я почти поверил в это. Почти.

На следующий день я купил новую лампу и вкрутил ее в ванной. Свет стал ярче, белее, безжалостнее. Теперь мое лицо в зеркале было видно во всех подробностях: каждая пора, каждая морщинка, каждый изъян. Я смотрел на себя долго, пристально, изучая, как незнакомца. И снова заметил это — уже не краем глаза, а прямым взглядом, когда я просто стоял и чистил зубы. Я наклонился к раковине, чтобы сплюнуть пасту, а когда выпрямился, мое отражение уже стояло прямо, хотя я еще только начинал разгибать спину. Оно опередило меня. Буквально на долю секунды, но опередило. Я застыл с зубной щеткой во рту, глядя в зеркало, и мое отражение смотрело на меня в ответ с тем же выражением ужаса в глазах. Но в его ужасе, в его расширенных зрачках, мне почудилось что-то еще. Какой-то интерес. Какое-то любопытство, которого не было в моих собственных глазах. Или мне это просто казалось? Где заканчивалась моя паранойя и начиналась реальность, я уже не мог определить.

Я начал избегать зеркал. Это оказалось сложнее, чем я думал. Зеркала повсюду: в ванной, в прихожей, в лифте на работе, в витринах магазинов, в тонированных стеклах автомобилей. Я ловил свое отражение повсюду, и каждый раз, когда я его ловил, мне казалось, что оно ведет себя чуть-чуть

иначе, чем должно. Иногда оно моргало не в такт со мной. Иногда, как мне казалось, оно чуть-чуть поворачивало голову, когда я не смотрел прямо, но я не мог этого доказать, потому что каждый раз, когда я резко оборачивался, оно успевало вернуться в нормальное положение. Это превратилось в параноидальную игру: я пытался застать свое отражение врасплох, а оно, казалось, знало правила этой игры и всегда оказывалось на шаг впереди.

Однажды утром, собираясь на работу, я стоял перед зеркалом в прихожей и завязывал галстук. Я не смотрел прямо в зеркало, сосредоточившись на узле, но в какой-то момент поднял глаза и увидел, что мое отражение не завязывает галстук. Оно просто стояло, опустил руки, и смотрело на меня. Смотрело с легкой, едва заметной улыбкой, той самой, с задержкой, которую я заметил в первый день. Я замер, и мои пальцы, сжимавшие галстук, побелели от напряжения. Отражение не двигалось. Оно просто стояло и улыбалось. Я медленно поднял руку. Отражение не повторило движение. Оно продолжало стоять, опустил руки, и улыбка на его лице становилась все шире. Не быстрее, но шире — уголки губ ползли к ушам медленно, плавно, как будто кто-то растягивал резиновую маску. Это была моя улыбка, но доведенная до гротеска, до карикатуры, до того предела, за которым она переставала быть улыбкой и становилась чем-то совершенно иным — оскалом, гримасой, пародией на человеческую ми-

мику.

Я отшатнулся назад, ударившись спиной о стену прихожей, и зеркало качнулось на стене. В этот момент отражение снова стало синхронным: оно тоже отшатнулось, его спина уперлась в стену зеркального коридора. Но улыбка осталась. Она не исчезла. Она застыла на его лице, и я, глядя на него, чувствовал, как мои собственные губы невольно растягиваются в ответ, хотя я не хотел улыбаться. Я не хотел. Я пытался сохранить нейтральное выражение, но мышцы лица не слушались, они подрагивали, как будто кто-то дергал за невидимые нити. Я закрыл лицо руками, чтобы не видеть этого, и стоял так долго, дыша рвано и часто, как загнанный зверь. Когда я наконец убрал руки и посмотрел в зеркало, отражение было нормальным. Улыбка исчезла. Оно смотрело на меня с тем же испугом, который я чувствовал внутри. Но я уже не верил ему. Я не верил себе.

В тот день я опоздал на работу. Я сидел в офисе, тупо глядя в монитор, и не мог сосредоточиться ни на одной задаче. Мысли крутились вокруг зеркала, вокруг улыбки, вокруг того, что я видел — или мне казалось, что видел. Я понимал, что нахожусь на грани. Что еще немного, и я либо пойду к психиатру, либо начну крушить все зеркала в доме. Но хуже всего было то, что я не знал, что пугает меня больше: возможность того, что я схожу с ума, или возможность того, что

я абсолютно здоров, и то, что происходит в зеркалах, — реально. Если я сумасшедший, то это всего лишь болезнь, химический дисбаланс, который можно вылечить таблетками. Но если я в своем уме, тогда то, что смотрит на меня из зеркала, — это не я. И оно улыбается. И его улыбка становится шире с каждым днем.

Я решил провести эксперимент. В обеденный перерыв я спустился в туалет на первом этаже бизнес-центра, где было большое, во всю стену, зеркало над раковинами. Я дождался, пока все выйдут, и встал прямо перед ним. Я смотрел в глаза своему отражению и пытался понять, что в них изменилось. Это были мои глаза — серо-голубые, с легкой желтизной вокруг зрачков, унаследованной от отца. Но взгляд был другой. Не мой. Я не мог объяснить, в чем разница, но я ее чувствовал. Так чувствуешь чужое присутствие в пустой комнате, даже не видя никого. Мое отражение смотрело на меня так, как смотрят на интересного собеседника — с вниманием, с терпением, с легкой насмешкой в глубине зрачков. Я поднес руку к стеклу. Отражение поднесло руку. Я коснулся холодной поверхности ладонью. Отражение коснулось ладонью с той стороны. Я посмотрел на его ладонь и увидел то, что заставило мою кровь застыть в жилах. На тыльной стороне ладони моего отражения, чуть ниже костяшек указательного и среднего пальцев, была татуировка. Маленький, черный ключ. Тот самый ключ, который лежал сейчас в кар-

мане моих брюк — ключ из черного металла, который я нашел у себя после выхода с той проклятой лестницы. Я перевернул свою ладонь. На моей коже не было ничего. Никакой татуировки. Чистая кожа. Я снова посмотрел в зеркало. Отражение улыбалось. И теперь его улыбка была не просто широкой — она была торжествующей.

Я отпрянул от зеркала, как будто оно обожгло меня. Сердце колотилось так, что его удары отдавались в ушах. Я хотел бежать, но ноги не слушались. Я стоял, вцепившись побелевшими пальцами в край раковины, и смотрел на свое отражение, которое больше не притворялось мной. Оно улыбалось своей собственной улыбкой, не имевшей ко мне никакого отношения. И в этой улыбке было знание. Знание того, о чем я только догадывался. Лестница не отпустила меня. Она оставила во мне что-то — или забрала что-то, а взамен поселила это. То, что смотрело на меня из зеркала, пришло оттуда, из бесконечного лабиринта дверей и пролетов, и теперь оно обживалось в моем отражении, как паразит в теле хозяина, постепенно подчиняя его своей воле.

Я вышел из туалета на ватных ногах и больше не возвращался в офис. Я бродил по городу до вечера, избегая витрин, избегая любых отражающих поверхностей, как вампир избегает солнечного света. Я думал о ключе, который лежал у меня в кармане, и о татуировке на руке отражения. Это

была связь. Это была метка. То, что происходило со мной сейчас, было продолжением того, что началось в тот вечер, когда я вошел не в ту дверь. Я зашел не в тот подъезд — и теперь что-то другое зашло в меня. Или готовилось занять мое место.

Вечером я вернулся домой, когда уже стемнело. Я не стал включать свет в прихожей, чтобы не видеть зеркало на стене. Я прокрался на кухню, зажег там лампу и долго сидел за столом, глядя в одну точку. Тишина в квартире была оглушительной. Раньше я никогда не замечал, сколько звуков издает мой дом: холодильник гудит, трубы постукивают, соседи сверху ходят, лифт ездит в шахте. Теперь все эти звуки казались мне подозрительными, как будто каждый из них мог быть шагами того, кто шел за мной с лестницы. Я боялся идти в ванную, где висело самое большое зеркало. Я боялся проходить мимо прихожей. Я даже боялся смотреть в темный экран телефона, потому что в нем тоже было отражение. Я сидел, обхватив голову руками, и пытался понять, что мне делать.

И тут раздался стук. Тихий, осторожный, но отчетливый. Стук в дверь моей квартиры. Я вздрогнул всем телом и уставился в темный коридор, ведущий к прихожей. Стук повторился — три удара, размеренных, спокойных, без той нервной торопливости, с какой обычно стучат соседи или курье-

ры. Я не двигался. Я ждал. Тишина. А потом я услышал голос. Он доносился из-за двери, приглушенный деревом, но вполне различимый. Голос был мой. Мой собственный голос, с моими интонациями, с моей манерой слегка растягивать гласные. Он произнес:

— Артем. Открой. Ты же знаешь, что это я.

Я вцепился в край стола так, что ногти царапнули дерево. Я не мог пошевелиться. Я не мог дышать. За дверью стояло что-то, что говорило моим голосом, и я знал, что если открою — увижу себя. С той самой улыбкой. С той самой татуировкой на руке. Я знал, что мое отражение вышло из зеркала и пришло за мной. И оно хотело войти. Хотело занять мое место окончательно.

— Ты же слышишь меня, — продолжал голос из-за двери, и в нем звучала улыбка, та самая, широкая, нечеловеческая. — Ты ведь знаешь, зачем я здесь. Это всего лишь обмен. Ты был там, где не должен был быть. Ты открыл не ту дверь. Теперь другая дверь открылась для тебя. Будь справедлив. Впусти меня. Или, если хочешь, можем поменяться. Ты займешь мое место в зеркале, а я — твое здесь. Что скажешь?

Я молчал, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. Голос за дверью вздохнул — точь-в-точь как я вздыхал, когда

установка или расстраивался. А потом раздался звук, от которого у меня похолодело все внутри. Это был звук ключа, вставляемого в замок. Моего ключа. И замок начал поворачиваться. Медленно, со скрежетом, как будто кто-то с той стороны открывал дверь. Я вскочил, опрокинув стул, и бросился в коридор. Я успел набросить цепочку и прижаться к двери плечом, чувствуя, как с той стороны на нее давит сила — не физическая, а какая-то иная, более глубокая, давящая не на дверь, а на саму реальность, пытаюсь ее продавить, пробить брешь между миром зеркал и моим миром.

— Зря ты так, — произнес голос с той стороны, и теперь в нем не было притворной ласковости. Только холод. Только голод. — Мы все равно встретимся. Рано или поздно. Ты никуда не денешься от меня. Я — это ты. Только лучше. Только свободнее. Ты еще поймешь.

Давление на дверь ослабло. Шаги — мои шаги, я узнал их ритм — стали удаляться вниз по лестнице. Я стоял, прижавшись к двери, и слушал, как они затихают где-то на нижних этажах. Когда все стихло, я медленно сполз по двери на пол и сидел так, обхватив колени руками, как ребенок. В квартире было тихо. Только холодильник гудел на кухне, да где-то далеко, за стеной, соседский телевизор бубнил что-то неразборчивое. Мир продолжал существовать, но мой личный мир трещал по швам.

Через час я заставил себя встать и пойти в ванную. Я должен был это сделать. Я должен был увидеть. В ванной горела новая, слишком яркая лампа, которую я купил, чтобы разоблачить иллюзию. Я встал перед зеркалом и посмотрел. Из отражения на меня смотрел я — уставший, испуганный, с темными кругами под глазами и дрожащими губами. Все было нормально. Все было синхронно. Но когда я уже хотел отвернуться, я заметил это. Едва заметное движение. Мое отражение подняло левую руку на уровень груди, хотя моя рука висела вдоль тела. Оно повернуло ладонь так, чтобы я видел татуировку. И улыбнулось. Уголки губ поползли вверх, в стороны, дальше, чем это физически возможно, за пределы человеческой анатомии, и улыбка стала разрезать лицо пополам, обнажая зубы, десны, что-то темное и влажное за зубами. Я закричал и ударил кулаком по зеркалу. Стекло треснуло, и трещина прошла ровно через лицо отражения, разделив его на две неравные половины. Из пореза на моей руке закапала кровь, падая в раковину и смешиваясь с водой. Я посмотрел на свое отражение в осколках — оно распалось на множество фрагментов, и в каждом фрагменте жило что-то свое. Где-то губы еще улыбались, где-то глаза смотрели с ненавистью, где-то лицо было мертвенно-бледным, как у покойника. А из самого большого осколка на меня смотрел я — но не тот я, которым я был сейчас, а тот, с лестницы. С татуировкой. С улыбкой. С ключом в руке. И он подмигнул

мне.

Я выбежал из ванной и больше не возвращался туда всю ночь. Я сидел на кухне, заклеивая пластырем порезанную руку, и думал о ключе, который до сих пор лежал в кармане. Я достал его и положил на стол перед собой. Маленький, черный, холодный. Ключ от двери, которую я не выбирал, но которая, кажется, выбрала меня. Что он открывает? Квартиру номер сорок два? Дверь с черным дерматином? А может быть, дверь в зеркало, за которой сейчас живет мое отражение, ожидая, когда я ослаблю бдительность и позволю ему войти? Я не знал. Но я знал, что этот ключ — единственная зацепка, единственная ниточка, ведущая в тот лабиринт, из которого я едва выбрался и который теперь пришел за мной сюда.

Где-то в глубине квартиры, в ванной, раздался тихий звук. Как будто осколок зеркала упал в раковину. Я вздрогнул, но не пошел проверять. Потому что я знал: если я пойду туда, то увижу что-то, чего видеть не должен. И, может быть, на этот раз я не смогу отвернуться. Может быть, на этот раз отражение не отпустит меня. Я смотрел на ключ, вертел его в пальцах, и вдруг заметил на его бородке крошечную гравировку. Я поднес ключ к глазам, щурясь в свете кухонной лампы. Там было выцарапано одно слово: «Возвращайся». И я понял, что у меня нет выбора. Лестница звала меня обратно.

И на этот раз мне придется спуститься в нее добровольно.

Глава 3. Голос за стеной

Ключ лежал на кухонном столе и, казалось, впитывал в себя свет. Не отражал, как обычный металл, а именно впитывал, поглощал, оставляя вокруг себя едва заметный ореол темноты, который пульсировал в такт моему сердцебиению. Я смотрел на него уже битый час, обхватив ладонями остывшую кружку с недопитым кофе, и пытался понять, что мне делать с этим знанием. Знанием того, что лестница не закончилась. Что она лишь отпустила меня на время, как рыбак отпускает леску, чтобы рыба устала и перестала сопротивляться, прежде чем он потянет ее к берегу. И теперь леска натягивалась снова, медленно, неумолимо, и я чувствовал это натяжение каждой клеткой своего тела.

После того, что случилось в ванной, я не спал уже вторую ночь. Я пробовал — ложился на диван в гостиной, подальше от зеркал, закрывал глаза, заставлял себя дышать ровно и глубоко, но сон не приходил. Вместо него приходили образы: бесконечные лестничные пролеты, двери с чужими номерами, черный дерматин с золотыми цифрами, которые складывались в даты моей жизни, и улыбка моего отражения, разрезающая лицо пополам. Я ворочался, сбивая простыни в жгут, и каждый скрип половиц, каждый шорох за

окном заставлял меня вздрагивать и прислушиваться к темноте. Квартира, которая раньше была моей крепостью, моим убежищем от мира, превратилась в чужую территорию, где за каждым углом могло прятаться то, что пришло за мной.

Я заклеил зеркало в ванной старыми газетами, найденными в кладовке. Сначала я хотел просто снять его и выбросить, но что-то меня остановило — какой-то животный страх прикоснуться к раме, к стеклу, к поверхности, которая больше не была пассивным отражателем, а стала дверью. Дверью, через которую на меня смотрели. Я заклеил его газетами в несколько слоев, тщательно, как заклеивают окна перед бомбежкой, и каждый раз, проходя мимо ванной, я видел краем глаза эти газетные страницы с заголовками о прошлогодних выборах и курсах валют, и от этого обыденность происходящего становилась еще более гротескной. Я также занавесил зеркало в прихожей старой простыней, которую нашел в шкафу. Простыня свисала до пола, и когда дул сквозняк из-под входной двери, она слегка колыбалась, как саван, и мне все время казалось, что за ней кто-то стоит. Стоит и ждет, когда я подойду достаточно близко.

На работу я больше не ходил. Я позвонил Валерию Семеновичу и сказал, что заболел — что-то с желудком, кажется, отравление. Мой голос звучал так глухо и измученно, что он поверил без лишних вопросов, только буркнул что-то

про необходимость оформить больничный и повесил трубку. Я остался один в квартире, отрезанный от внешнего мира, но не одинокий. Потому что теперь я постоянно чувствовал чье-то присутствие. Не физическое, не то, что можно увидеть или потрогать, а какое-то давящее, подспудное ощущение, что я нахожусь под наблюдением. Как будто стены моей квартиры стали прозрачными для чьего-то взгляда, и этот взгляд следит за каждым моим движением, изучает мои привычки, мои маршруты по комнатам, мои попытки занять себя хоть чем-то, чтобы не сойти с ума от ожидания.

Первые два дня я пытался вести нормальную жизнь. Я готовил еду, хотя аппетита не было совершенно. Я включал телевизор, но не мог сосредоточиться на том, что показывали — голоса ведущих сливались в монотонный гул, лица расплывались в цветные пятна. Я пытался читать книгу, но перечитывал одно и то же предложение по десять раз, потому что мысли уносились далеко, в лабиринт лестницы, и слова не имели смысла. Я бродил по квартире, как зверь в клетке, от окна к двери, от двери к кухне, от кухни к спальне, и с каждым кругом стены становились все теснее, а потолок — ниже. Мир сжимался до размеров моей двушки, и в этом сжатом мире начинало происходить что-то, чему я не мог найти объяснения.

Это началось на третью ночь. Я лежал на диване в гости-

ной, укутавшись в плед, и смотрел в потолок, считая трещины на побелке. Где-то вдалеке, за окном, проехала машина, шелестя шинами по мокрому асфальту. За стеной, у соседей справа, Гавриловых, было тихо — необычно тихо, учитывая, что у них трое детей и вечно включенный телевизор. Но я уже привык к этой тишине, к тому, что звуки из соседних квартир стали какими-то приглушенными, далекими, как будто между нами проложили слой ваты. Я почти задремал, проваливаясь в то сумеречное состояние между сном и бодрствованием, где мысли теряют четкость и превращаются в образы, когда услышал это.

Голос. Тихий, приглушенный, но отчетливый. Он доносился из стены, к которой был придвинут диван, — из той самой стены, что отделяла мою гостиную от квартиры Гавриловых. Сначала я подумал, что это телевизор — наверное, они включили его очень тихо, и звук просачивается сквозь бетон. Но уже через несколько секунд я понял, что ошибаюсь. Это был не телевизор. Телевизор не делает пауз, не меняет интонаций в зависимости от смысла, не звучит так, словно кто-то ведет беседу. А это была именно беседа. Два голоса, может быть, три, они переплетались, перебивали друг друга, замолкали, словно обдумывая услышанное, и снова начинали говорить. Я не мог разобрать слов — звук был слишком тихим, слишком далеким, но я мог различить ритм, рисунок разговора. Это были не помехи, не шум труб, не скрип по-

ловиц. Это были голоса.

Я сел на диване, сбросил плед и прислушался, затаив дыхание. Сердце снова заколотилось где-то в горле, как тогда, на лестнице. Я приложил ухо к холодной стене и замер. Бетон был шершавым на ощупь, от него тянуло холодом, и этот холод, казалось, проникал прямо в мозг, в мысли. Голоса стали чуть громче, чуть ближе, но слов я по-прежнему разобрать не мог — только интонации, только музыка речи. Один голос был низким, с хрипотцой, и говорил он медленно, весомо, как говорят люди, привыкшие, чтобы их слушали. Второй был выше, тоньше, он то взлетал до визгливых нот, то опускался до шепота. А иногда мне казалось, что есть еще и третий — совсем тихий, почти неразличимый, который звучал как эхо первых двух, как тень голоса. Они говорили о чем-то, обсуждали что-то, и в их речи чувствовалась некая регулярность, ритмичность, словно они повторяли один и тот же ритуал каждую ночь.

Я отлепился от стены, потер ухо, которое занемело от холода, и попытался рассуждать здраво. Гавриловы. У них гости. Или они сами разговаривают — муж с женой, может быть, спорят о чем-то. Да, точно, они часто спорили, я слышал их крики раньше, хотя эти крики были громкими, эмоциональными, полными бытовых претензий. А это — другое. Это был не спор. Это был разговор — размеренный, по-

что деловой, с какими-то интонациями, которые я не мог идентифицировать. В нем не было злости, не было усталости, не было ничего, что обычно присутствует в ночных разговорах уставших родителей троих детей. В нем было что-то чуждое. Что-то, от чего у меня по спине побежали мурашки, хотя я еще не понимал почему.

Я снова прижался ухом к стене, на этот раз сильнее, до боли в скуле, и попытался разобрать хоть слово. Голоса продолжали свой странный диалог, и мне вдруг показалось, что я различаю отдельные слоги, обрывки фраз. «...пришел...» — произнес низкий голос, и это слово упало в тишину, как камень в воду. «...поздно...» — отозвался высокий, и в этом слове мне почудилась насмешка. Я затаил дыхание, прижался еще сильнее, так, что бетон начал царапать кожу на виске. И тогда я услышал фразу, которая заставила мою кровь застыть. Низкий голос произнес ее медленно, четко, словно специально для меня: «Он слушает. Прямо сейчас. Он прижался ухом к стене и думает, что это соседи».

Я отшатнулся от стены, как будто она обожгла меня. В висках застучала кровь, дыхание перехватило, и я сидел на диване, глядя на эту стену широко раскрытыми глазами, не в силах пошевелиться. Голос только что сказал обо мне. Он описал то, что я делал, прямо сейчас, в этот самый момент. «Он слушает. Он думает, что это соседи». Это не могло быть

совпадением. Это не могло быть случайной фразой, донесшейся из чужой квартиры. Это было обо мне. Для меня. Это было послание, адресованное непосредственно мне, и оно означало, что те, кто говорил за стеной, знали, что я их слышу. Знали, где я нахожусь, что делаю, о чем думаю. Они видели меня так же ясно, как я видел свое отражение в зеркале. Может быть, даже яснее.

Я сидел в полной тишине, парализованный страхом, и слушал. Голоса за стеной продолжали свой разговор, но теперь они стали тише, как будто говорившие отодвинулись от стены или понизили голоса до едва различимого шепота. Я снова потянулся к стене, преодолевая ужас, преодолевая инстинктивное желание бежать из этой комнаты, из этой квартиры, из этого дома, и приложил ухо к холодному бетону. Шепот был теперь совсем тихим, и мне приходилось напрягать слух до предела, чтобы разобрать хоть что-то. И я разобрал. Высокий голос, тот, что говорил с насмешкой, произнес: «Он вернулся с лестницы, но лестница не вернула его до конца. Она оставила себе кусочек. И теперь этот кусочек хочет обратно».

Низкий голос что-то ответил, но я не разобрал слов — только интонацию, мрачную, соглашающуюся. А потом оба голоса замолчали, и в наступившей тишине я услышал третий голос. Тот самый, тихий, похожий на эхо. Он произнес

одно-единственное слово, и от этого слова у меня внутри все оборвалось, потому что этот третий голос был моим. Моим собственным голосом. Он сказал: «Артем». Просто мое имя. Но то, как он его произнес — с какой-то жуткой, интимной лаской, с какой-то голодной нежностью, — заставило меня вскочить с дивана и отбежать в другой конец комнаты. Я стоял, прижавшись спиной к противоположной стене, и смотрел на ту стену, из-за которой доносились голоса, и мне казалось, что она сейчас пойдет трещинами, расколется, и из нее выйдут те, кто там говорил. И один из них будет мной.

Тишина. Голоса замолкли. Я стоял и ждал, сам не зная чего — продолжения разговора, стука в дверь, скрежета когтей по бетону. Но ничего не происходило. Только холодильник гудел на кухне, да капли дождя барабанили по подоконнику. Я медленно, шаг за шагом, подошел к выключателю и зажег свет — яркий, беспощадный, разгоняющий тени. Комната была пуста. Стена была цела. Никаких трещин, никаких следов. Обычная стена, оклеенная старыми обоями в цветочек, которые я собирался переклеить еще год назад. Я подошел к ней и осторожно, кончиками пальцев, потрогал поверхность. Холодная. Твердая. Реальная. Но то, что я слышал, тоже было реальным. Я знал это. Я больше не мог списывать происходящее на усталость или галлюцинации. Слишком много совпадений. Слишком много деталей. Лестница оставила во мне след, и теперь по этому следу ко мне тянулись разные

сущности, разные голоса, разные отражения. Они обсуждали меня за стеной, как врачи обсуждают пациента, как хищники обсуждают добычу. И один из этих голосов был моим.

Я не спал всю оставшуюся ночь. Я сидел на кухне с ключом в руке и прислушивался к звукам квартиры. Голоса больше не возвращались, но тишина теперь была хуже любых звуков. Потому что в этой тишине я слышал свои собственные мысли, и они звучали чужими. Как будто кто-то вложил их в мою голову извне. «Ты должен вернуться». «Ты должен открыть дверь». «Ты должен впустить нас». Я тряс головой, пытаюсь избавиться от этих мыслей, но они возвращались снова и снова, как навязчивый мотив, как заезженная пластинка. И с каждым часом мне было все труднее отделять свои собственные мысли от тех, что нашептывал кто-то другой.

Утром я решился на то, чего боялся больше всего. Я вышел на лестничную клетку. Мне нужно было проверить квартиру Гавриловых. Мне нужно было убедиться, что за стеной действительно живут обычные люди, а не то, о чем говорили голоса. Я оделся, обулся, взял ключи и вышел, оставив свою дверь приоткрытой. В подъезде было тихо, как и все эти дни. Я подошел к соседской двери, той самой, с номером «5», и прислушался. Ни звука. Я постучал — сначала тихо, потом громче. Тишина. Я постучал еще раз, уже кула-

ком. Никто не открыл. Тогда я, преодолевая страх, присел и заглянул в замочную скважину. Внутри было темно, но не той темнотой, что бывает в квартире, где просто не горит свет. Это была другая темнота — глубокая, вязкая, почти осязаемая. И в этой темноте что-то двигалось. Что-то, что издавало тот самый тихий, влажный звук, который я слышал за дверью с черным дерматином.

Я отпрянул от двери и быстро вернулся в свою квартиру, захлопнув дверь на все замки. Сердце колотилось где-то в горле. Я понял: Гавриловых больше нет. Может быть, их никогда и не было. А может быть, они стали частью того лабиринта, который теперь прорастал в наш дом, как опухоль, как раковая метастаза, захватывая квартиру за квартирой, подъезд за подъездом. И голоса, которые я слышал за стеной, шли не из их квартиры. Они шли из самой стены. Из пространства между мирами, которое становилось все тоньше.

Я вернулся на кухню, сел за стол и посмотрел на ключ. Теперь я знал, что мне придется это сделать. Придется вернуться на лестницу. Потому что проблема, которую я пытался игнорировать, не исчезала сама собой. Она росла. Она расплзалась. И если я ничего не предприму, она поглотит меня целиком, как уже поглотила, возможно, Гавриловых, как поглотила того мужчину с папиросой, как поглотила всех, кто когда-либо открывал не ту дверь. Я не хотел возвращаться. Я

боялся до дрожи, до тошноты. Но страх сидеть и ждать, пока голоса за стеной договорятся о моей судьбе, был сильнее. Я должен был действовать.

Я взял ключ, сжал его в ладони так, что грани впились в кожу, и начал готовиться. Я не знал, что именно мне понадобится в лабиринте лестницы, поэтому собирал все, что могло пригодиться. Фонарик. Бутылка воды. Бутерброды, завернутые в фольгу. Перочинный нож, который я когда-то купил в походном магазине и ни разу не использовал. Моток веревки — на случай, если придется спускаться или подниматься по шахтам. Маркер, чтобы оставлять метки. И самое главное — диктофон на телефоне. Потому что если я не вернусь, если исчезну так же, как Гавриловы, как мужчина с папиросой, как все остальные, я хотел, чтобы осталась запись. Чтобы кто-нибудь когда-нибудь нашел ее и узнал, что со мной случилось. Чтобы моя история не исчезла вместе со мной.

Я включил диктофон и начал говорить. Я говорил долго, подробно, описывая все, что произошло со мной с того самого вечера, когда я вошел не в ту дверь. Я рассказал о лестнице, о двери с черным дерматином, о мужчине с папиросой, о зеркалах, об улыбке, которая задерживалась дольше положенного, о голосах за стеной. Я говорил, пока не охрип, а потом сохранил запись и положил телефон на видное место, на кухонный стол. Если я не вернусь, тот, кто войдет в

квартиру, найдет его.

На улице снова шел дождь, когда я вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Лестничная клетка встретила меня все той же тишиной, но теперь эта тишина была другой. Она была полна ожидания. Как будто лестница знала, что я возвращаюсь. Как будто она ждала меня. Я сжал ключ в кармане, нащупал его холодный металл и начал спускаться вниз, туда, где, как я знал, находится дверь, которая не должна существовать. Дверь в бесконечный лабиринт, где голоса за стеной станут явью, где отражения перестанут притворяться, где татуировка на моей руке перестанет быть просто картинкой в чужом зеркале.

Когда я проходил мимо лифта, мне показалось, что за его закрытыми дверями кто-то стоит. Кто-то, кто дышит в такт моим шагам. Я не остановился, чтобы проверить. Я просто шел вниз, сжимая ключ, и с каждым шагом воздух становился все более спертым, а свет — все более тусклым. А когда я открыл входную дверь подъезда и вышел на улицу, я увидел, что вместо моего двора, вместо моего автомобиля, вместо мусорных баков и мокрого асфальта передо мной снова расстилается лестничная клетка. Бесконечная. Темная. И на ближайшей двери, обитой черным дерматином, золотыми цифрами был выведен номер «22». Моя квартира. Или ее версия из того мира, где все отражения живут своей жизнью.

Я толкнул дверь. Она подалась с тем самым мягким, ласковым шипением, которое я запомнил в прошлый раз. И я вошел внутрь, уже зная, что голоса за стеной будут ждать меня там. Что они говорили обо мне. Что один из них говорит моим голосом. И что где-то в глубине этого лабиринта находится дверь, которую я должен открыть — или закрыть навсегда. За спиной захлопнулась дверь, отрезая путь назад, и тишина навалилась на меня, плотная, как вода на большой глубине. Но на этот раз я не побежал. Я включил фонарик, направил луч в темноту и пошел вперед. Потому что теперь я знал: страх — это не враг. Страх — это компас. И он указывает туда, куда я должен идти.

Глава 4. Вещи с изнанки

Возвращение на лестницу отличалось от первого раза так же, как отличается осознанный шаг в бездну от случайного падения. В прошлый раз я был жертвой обстоятельств, заблудившимся прохожим, который по рассеянности свернул не туда и угодил в лабиринт, не понимая его правил. Теперь я шел туда добровольно, сжимая в кармане черный ключ и ощущая, как с каждым шагом реальность вокруг меня истончается, как старая ткань, готовая порваться от малейшего прикосновения. Лестница ждала меня. Я чувствовал это по тому, как охотно поддалась дверь, как знакомо пахло в лицо сухой библиотечной пылью и сладковатым ароматом увядших цветов, как мягко, почти ласково зашипели петли, закрывая за моей спиной проход в нормальный мир.

Но нормальный мир остался там, за дверью, и я уже не был уверен, что он вообще существовал когда-либо в том виде, в каком я его помнил. После голосов за стеной, после улыбки в зеркале, после визита того, кто говорил моим голосом и пытался открыть мою дверь, грань между реальностью и кошмаром стала такой тонкой, что я уже не мог определить, где заканчивается одно и начинается другое. Может быть, этой грани никогда и не было. Может быть, лестница всегда

была здесь, прямо под поверхностью обыденности, как подземная река, и только ждала момента, когда я оступлюсь и провалюсь в нее.

Я стоял на лестничной клетке, которая выглядела точь-в-точь как та, из которой я только что вышел — и все же отличалась в деталях, которые мой мозг, натренированный за последние дни замечать аномалии, фиксировал автоматически. Ступени были те же, но выщербины на них располагались в другом порядке. Перила были того же коричневого цвета, но лак облупился не там, где я привык. Стены были выкрашены в тот же ядовито-зеленый, «фисташковый» цвет, но оттенок был чуть темнее, чуть насыщеннее, как будто краска еще не успела выцвести. Я провел по стене ладонью и почувствовал, что она теплая. Не холодная, как бетон, а теплая, почти живая, как кожа спящего животного. Я отдернул руку и вытер ладонь о штаны, хотя на ней ничего не осталось — ни пыли, ни краски, ни следов.

Дверь с номером «22», обитая черным дерматином, была приоткрыта — та самая дверь, которая в прошлый раз не поддалась моему ключу, та самая, за которой, как я предполагал, находилась зеркальная версия моей квартиры. Теперь она стояла нараспашку, и из щели лился тусклый, желтоватый свет, тот самый, который я уже научился ненавидеть. Я толкнул дверь и вошел, не зная, что увижу внутри, но гото-

вый ко всему — по крайней мере, мне так казалось. Я ошибался. К тому, что я увидел, невозможно было подготовиться.

Квартира была моей. И в то же время она была чужой, как лицо на старой фотографии, в котором узнаешь черты, но не узнаешь выражения. Планировка та же: коридор, уходящий вглубь, дверь в ванную слева, кухня прямо, гостиная справа. Та же мебель — мой диван, мой книжный шкаф, мой обеденный стол, купленный в «Икее» три года назад и собранный криво, так что одна ножка была короче других и под нее приходилось подкладывать сложенную салфетку. Но все это было не совсем моим. Как будто кто-то воссоздал мою квартиру по описанию, по памяти, но перепутал детали. Обои в гостиной были того же рисунка — бежевые с бледно-голубыми цветами, — но цветы смотрели не вверх, как в моей настоящей квартире, а вниз. Книги в шкафу стояли в том же порядке, но корешки были наоборот, так что названия читались справа налево. На кухонном столе стояла моя кружка с бергамотом, но чай в ней был еще горячим, хотя я не заваривал его здесь. И пар от него поднимался не вверх, а стелился по столу, как туман, и медленно сползал на пол.

Я прошел по квартире, заглядывая в каждую комнату, и чувство чужого присутствия становилось все сильнее. Это была не та чуждость, которую испытываешь в чужом доме,

где все вещи принадлежат незнакомым людям. Это было что-то более тонкое, более жуткое. Как будто мои собственные вещи сговорились против меня. Как будто они помнили что-то, чего не помнил я. Как будто у них была своя жизнь, своя история, и в этой истории я был не хозяином, а гостем. Нежеланным гостем, который вторгся в чей-то давно устоявшийся порядок.

В спальне я остановился. Кровать была застелена тем же постельным бельем, что и у меня дома — серым, с белой полоской. Подушка лежала ровно, одеяло было натянуто без единой складки, как в гостинице. Я никогда не заправлял постель так аккуратно. Я вообще редко ее заправлял, сбрасывая одеяло утром и оставляя его лежать бесформенной кучей до вечера. А здесь все было идеально, стерильно, как в музее быта одинокого мужчины начала двадцать первого века. Я подошел к кровати, сам не зная зачем, и взялся за край одеяла. Ткань была холодной на ощупь, как будто ее только что достали из морозильника. Я откинул одеяло, и то, что я увидел, заставило меня отшатнуться назад, ударившись плечом о дверной косяк.

Под одеялом лежала кукла. Старая, потрепанная, с фарфоровым лицом, покрытым сеткой мелких трещин, и спутанными волосами, которые когда-то, наверное, были льняными локонами, а теперь напоминали паклю. На ней было

платье, сшитое из какой-то выцветшей ткани, с кружевным воротником, пожелтевшим от времени. Глаза куклы были открыты — стеклянные, голубые, с черными зрачками, которые, казалось, смотрели прямо на меня, куда бы я ни двигался. И рот ее был растянут в улыбке, той самой, которую я уже видел в зеркале — слишком широкой для человеческого лица, застывшей, неестественной. Кукла лежала на моей подушке, на том самом месте, где каждую ночь покоилась моя голова, и ее маленькие фарфоровые ручки были сложены на груди, как у покойника.

Я не мог отвести от нее взгляд. В этой кукле было что-то глубоко неправильное, что-то, что выходило за пределы обычного страха перед старыми игрушками. Дело было не в ее возрасте, не в ее потрепанности, не в ее жуткой улыбке. Дело было в том, что я ее узнал. Я видел эту куклу раньше. Но не здесь. Не в этой квартире. И не в своей настоящей квартире. Я видел ее там, на лестнице, когда пробегал мимо одной из дверей, приоткрытой в чужую жизнь. Она сидела на подоконнике в комнате, залитой тем самым желтым светом, и смотрела в окно, за которым не было ничего, кроме темноты. Я тогда не придавал этому значения, просто отметил краем сознания и побежал дальше. Но теперь она была здесь. В моей постели. Ждала меня.

Я заставил себя подойти ближе. Кукла не двигалась, но

ощущение, что она следит за мной, усиливалось с каждым шагом. Я наклонился над ней, рассматривая детали. Платье было застегнуто на спине на маленькие перламутровые пуговицы, и одна из них отсутствовала. На шее у куклы висел кулон — крошечный черный ключик, точь-в-точь как тот, что лежал у меня в кармане, только в масштабе один к десяти. Я машинально потянулся к нему, но, когда мои пальцы почти коснулись фарфоровой шеи, кукла моргнула. Веки ее, сделанные из тонкого розового шелка, опустились и снова поднялись, и зрачки переместились — теперь они смотрели не на меня, а на что-то за моей спиной. Я резко обернулся, но за спиной никого не было. Только пустой дверной проем и коридор, уходящий в темноту. Когда я повернулся обратно, кукла снова смотрела на меня, и ее улыбка, как мне показалось, стала чуть шире.

Я вышел из спальни, пятясь, чтобы не поворачиваться к кукле спиной, и только в коридоре перевел дыхание. Сердце колотилось так, что его удары отдавались в ушах. Я не знал, что означает эта кукла — предупреждение, угрозу или просто знак того, что лестница проникла в мой мир глубже, чем я думал. Но я знал, что она здесь не случайно. На лестнице ничто не было случайным. Каждая дверь, каждый звук, каждый предмет имели значение, и разгадка этого значения была где-то рядом, но ускользала, как обрывок сна после пробуждения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.